

Александр Радищев

Житие Федора Васильевича Ушакова с приобщением некоторых его сочинений



*Часть сборника
Путешествие из Петербурга в
Москву (сборник)*



Александр Николаевич Радищев

Житие Федора Васильевича

Ушакова с приобщением

некоторых его сочинений

Текст предоставлен издательством «Эксмо»

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=172995

Путешествие из Петербурга в Москву: Эксмо; М.: 2007

ISBN 978-5-699-17907-7

Аннотация

Александр Радищев – русский литератор-революционер, по выражению Екатерины II, «бунтовщик хуже Пугачева», – писатель глубокий и смелый. За книгу «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева посадили в Петропавловскую крепость. Суд приговорил его к смертной казни, которую императрица заменила лишением чинов и дворянства и ссылкой в сибирский острог. Эта книга – редчайший по силе просветительский трактат, написанный в виде путевых очерков, где и точные наблюдения путешественника, и вдохновенные лирические отступления увлекают читателя к сопереживанию и созерцанию: что есть Россия, что для нее благо и что зло.

В книгу вошли наиболее значительные произведения А.Н.Радищева: «Житие Федора Васильевича Ушакова», «Дневник одной недели», «Бова» и другие.

Содержание

Часть первая	4
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Александр
Николаевич Радищев
Житие Федора
Васильевича Ушакова
с приобщением
некоторых его сочинений**

**Часть первая
Житие Федора
Васильевича Ушакова**

Алексею Михайловичу Кутузову

Не без удовольствия, думаю, любезнейший мой друг, воспоминаешь иногда о днях юности своея; о времени, когда все страсти, пробуждаясь в первый раз, производили в новой душе не стройное хотя волнение, но дни блаженнейшие всея жизни соделывали. Беззаботный дух и разум неопытно-стию не претили в веселии распространяться чувствам, чуждым скорбного еще нервов содрогания. Да и самая печаль,

грусть и отчаяние скользили, так сказать, на юном сердце, не проницая начальную его твердость, когда нередко наиплачевнейший день скончался веселия исступлением. Отвлеки мысленно невинную часто порочность из деяний юности, найдешь, что после первых восторгов веселия подобных в жизни своей не чувствовал. Первое веселие назвать можно вершиною блаженства, и потому только, что оно первое; последующее уже есть повторение, и нечаянности приятность его не живит. Не с удовольствием ли, мой друг, повторю я, вспомняешь о времени возрождения нашей дружбы, о блаженном сем союзе душ, составляющем ныне мое утешение во дни скорби, и надеяние мое для дней успокоения. Не возрадуешься ли, если узришь паки подавшего некогда нам пример мужества, узришь учителя моего по крайней мере в твердости. Вспомяни, о мой друг! Федора Васильевича, сгораема внутренним огнем, кончину свою слышавшего из уст нелестивого своего врача и к тебе, мой друг, к тебе прибегающего на скончание своего мучения... Вспомяни сию картину и скажи, что делалось тогда в душе твоей. Пьющий Сократ отраву пред друзьями своими наилучшее преподавал им учение, какого во всем житии своем не возмог.

Таковые размышления побудили меня описать житие товарища нашего Федора Васильевича Ушакова. Я ищу в том собственного моего удовольствия; а тебе, любезнейшему моему другу, хочу отверзти последние излучины моего сердца. Ибо нередко в изображениях умершего найдешь черты в жи-

вых еще сущего.

Первые годы жизни Федора Васильевича мало мне известны; и хотя бы охотно и с удовольствием их я начертал, находя в первейших детских и отроческих деяниях начальное образование души его, находя в пятилетнем Ушакове семена твердости, душу его возвышавшей в возмужалых летах, но лучше признаюсь в неведении моем, нежели поставлю что-либо гадательное вместо истины, и единственного да не отыму побуждения ко чтению сего повествования во истине.

Но не гадательным предположением назвать можно, если скажу, что воспитанием своим в Сухопутном кадетском корпусе положил он основательное образование прекрасная своя душа. Ибо в душе своей более предугадать мог, нежели в разуме, скончав жизнь свою тогда, когда юношескою крепостию мозга представления, воображения и мысли, проникая друг друга, первые полагают украшения верховного нашего члена, главы; когда разум, хотя собрав посредством чувств много понятий, не имел еще довольно времени устроить их в порядок, дабы и последнее возбуждало первое, переходя все между стоящее.

Успехи Федора Васильевича в науках побудили тогда тайного советника Теплова взять его к себе в должность секретаря, с чином титулярного советника. По издании Рижского торгового устава, при составлении которого он много трудился, получил он чин коллежского асессора. Люди, ослепляющиеся внешностию и чтущие в человеке чин, а не чело-

века, завидуя ему и предрекая ему возвышение, обучались уже его почитать заранее; но сколь не равных с ними он сам о себе был мыслей, доказал то самым делом.

Императрица Екатерина, между многими учреждениями на пользу государства, восхотела, чтобы между людьми, в делах судебных или судопроизводных обращающимися, было некоторое число судей, имеющих понятие, каким образом отличившиеся законоположением своим народы оное сообразовали с деяниями граждан на суде. На сей конец определила послать в Лейпцигской университет двенадцать юношей для обучения юриспруденции и другим к оной относящимся наукам. Будучи извещен о сем благом намерении императрицы, Федор Васильевич прибегнул просьбою к начальнику своему, да участвует в приобретении знаний, сотовариществуя юношам, избранным для отправления в Лейпцигской университет.

Узнав о его предприятии, многие из его друзей увещевали его, да останется при своем месте, и да не предпочтет неверную стезю к почестям, ученость, покровительству своего начальника, и да не подроеет тем основания своего возвышения. В делах житейских, говорили они ему, все зависит от расчета и уловки. Кто в них следует единому рассудку и добродетели, тот небрежет о себе. Благоразумие, а иногда один расторопный поступок далее возводят стяжающего почестей, нежели все добродетели и дарования совокупно. Положим, что государь истинное достоинство только награж-

дает и пристрастен не бывает николи; но если бы возможно было ему, хотя одному, быть беспристрастному в своем государстве, все другие начальствующие в его образе таковы не будут; ибо если он возможет чужд быть родству, приятни, дружбе, любви, хотя потому, что равного себе не имеет, то кого найдешь ему подобного. Сверх же того, он малого токмо числа отечеству, или ему служащих, сам по себе знает истинные заслуги, о всех других судит по слуху, награждает того, кого назначают вельможи, казнит нередко того, кто им не нравится. Из нескольких миллионов ему подвластных едва единое сто служат ему; все другие (источая кровавые слезы, признаться в том должно), — все другие служат вельможам. Доказательства для сего не нужны. Скажу только одно: посмотри на поступающих в чины; кто чин, или место, или награждение какого бы рода ни было получит, обязанным себя, да и справедливо, почитает благодарить за то вельможей. Одного благодарит за то, что его рекомендовал государю, другого за то, что не был ему противен, третьего, чтобы вперед не говорил о нем худо. Государь нередко бывает в сем случае не что иное, как корабль, направляемый тем ветром, который других превозмогает. Итак, оставь пустую мысль и тщетное намерение быть известным государю, в низком состоянии следуй начатому пути и предупеешь.

Положим, что ты пребыванием своим в училище приобретешь знания превосходнейшие, что достоин будешь управлять не токмо важным отделением, но достоин будешь венца;

неужели думаешь, что тебя государь поставит на первую по себе степень? Тщетная мечта юного воображения! По возвращении твоём имя твоё будет забыто. Вместо того, что ты известен ныне чрез твоего начальника, о тебе тогда и не вспомнят, ибо не удостоит тебя государь, может быть, воззрения, отвлеченный от того или правления заботою, или надменностию сана своего, или завистию вельможей, которые, осаждая непрестанно престол царский, претят проникнуть до него достоинству. А если истекает на него награждение, то уделяют его всегда в виде милости, а не должным за заслуги воздаянием. — Ты поместишься в число таких людей, кои не токмо не равны будут тебе в познаниях, но и душевными качествами иногда ниже скотов почестся могут; гнушаться их будешь, но ежедневно с ними обращаться должен. Окрест себя узришь нередко согбенные разумы и души и самую мерзость. Возненавиден будешь ими; поженут тебя, да оставишь ристание им свободно. А если тогда начальник твой будет таковых же качеств, как и раболепствующие ему, берегись, гибель твоя неизбежна.

Таковыми ужасными представлениями друзья Федора Васильевича старались отвлечь его от его предприятия. Начальник его, хотя другими доводами, то же имел намерение, но все старания их были тщетны. Полагаясь твердо на правосудие своего государя и алкая науки, Федор Васильевич пребыл непоколебим в своем намерении и учения ради сложил с себя мужественный возраст, что степень почестей ему

уже давало в обществе, стал неопытный юноша или паче дитя, преклонялся в управление наставнику, управляв уже собою несколько лет в разных жизни обращениях. Описывая житие столь близкого сердцу моему человека, как то был Федор Васильевич, я не скрою, однако же, и того, чего разум его не мог еще в нем исправить и к чему обращение в большом свете приучило юные его чувства. Сие-то предвременное познание большого общества, где с дядькою казаться уже стыдно, навлекло ему болезнь в летах крепости и смерть безвременную.

Вышед из кадетского корпуса, Федор Васильевич стал управлять сам собою. Семнадцатилетний юноша, наперсник вельможи, коего тогдашний доступ до государя всем был известен, не мог он обойтись без искушения, и сии были различного рода. Большая часть просителей думают, и нередко справедливо, что для достижения своей цели нужна приязнь всех тех, кто хотя мизинцем до дела их касается, и для того употребляют ласки, лесть, ласкательство, дары, угождения и все, что вздумать можно, не только к самому тому, от кого исполнение просьбы их зависит, но ко всем его приближенным, как-то к секретарю его, к секретарю его секретаря, если у него оный есть, к писцам, сторожам, лакеям, любовницам, и если собака тут случится, и ту погладить не пропустят. Таковые же ласкательства, угождения и бог весть что употреблено было от просителей на снискание благоволения Федора Васильевича. Богач сулил злато, но не успевал и должен-

ствовал возвращаться с негодованием. Но если благорасположенная душа его отметала мздоимство, не могла она отметать всегда вида приязни. Трудившись во весь день, охотно ездил он по вечерам в собрания малые и большие, на балы, маскарады, ужины, где нередко просиживал за карточной игрою до полуночи, а иногда и гораздо позже. Возвращался домой, нередко вместо возобновления сил благотворным сном принужден бывал приниматься паки за работу, и светило дневное, восходя на освещение блаженства и несчастья, заставляло его согбенного над трудом, не вкушавшего еще сладости успокоения.

В числе множественных просителей бывали иногда женщины, женщины молодые, которые, в жару доводов о справедливой или неправильной их просьбе, забывали иногда, чем были должны целомудрию, а иные, помня леты того, к кому шли на прошение, умышленно употребляли чары красоты своей на приобретение благосклонности Федора Васильевича. Такого рода приключение он сам рассказывал. Се повесть его:

Пробыв гораздо за полночь в веселой беседе с людьми, обыкновенно друзьями называющимися, приехав домой, работал он до пятого часа утра и, утомившись веселием и работою, заснул крепко. Беззаботливая юность не беспокоилась еще колючим тернием опытности, и мечты сна его столь же были исполнены веселия, как и бдение. Ему снилось, что лежал он в объятиях прекрасной жены, упоенный сладостра-

стием, столь державно над юными чувствами властвующим, и среди прелестных сея мечты отлетел сон от очей его. Но что же представилось просиявшему его взору? Стократ любезнее виденной им во сне зрел он отроковицу почти, сидящую подле одра его, тщательно отгоняющую крылатых насекомых с лица его и распростертым опахалом умеряющую зной солнца, проникшего уже лучом своим в его спальню. Лето было, и час уже десятый. Не вдруг поверил он, что проснулся. Зря его пробудившегося и устремляя взоры пламенного желания, с улыбкой страсти и гласом сирены – «Извините меня, государь мой, – сказала просительница, – что я прервала ваш сон и лишила вас, может быть, приятных мечты возлюбленной». И проницала вещающая жарким своим взором всю его внутренность. Если бы я писал любовную повесть, koliko обильная предлежала бы начертанию жатва. Чувственность была в Федоре Васильевиче при начале своего возникновения, просительница жила в разводе со старым мужем, имела нужду в предстательстве Федора Васильевича, увидела его горячее телодвижение, пришла на уловление его и преуспела.

О, если бы и мое пробуждение могло быть иногда таково же, если бы я паки имел не более двадцати лет! Мой друг, жалею, если хочешь, о моей слабости, но се истина.

Сими и сим подобными случаями подсек Федор Васильевич корень своего здоровья и, не отъезжая еще в Лейпциг, почувствовал в теле своем болезнь, неизбежное следствие

неумеренности и злоупотребления телесных наслаждений.

Как со времени начатия нашего путешествия повествование о Федоре Васильевиче сопряжено с повествованием об общем нашем пребывании в Лейпциге, то не удивляйся, мой друг, если оно коснется вообще положения, в котором мы находились, и если найдешь здесь некоторые черты расположения твоих мыслей в тогдашнее время. Ибо забыть того нельзя, колико единомыслие между нами царствовало.

В продолжение нашего пути Федор Васильевич навлек на себя ненависть путевода нашего, и самое то качество, которое ему приобрело нашу приверженность, самое то было причиною, что Бокум его возненавидел. Твердость мыслей и вольное оных изречение были в нем противны, и с первого раза, когда они в нем явны стали, начал путевода наш помышлять, как бы погубить его. Но удивляться не должно, что противоречие в подчиненном, справедливое хотя противоречие, или, лучше сказать, единое напоминовение справедливости, произвело здесь со стороны сильного негодование и прещение. Сие в самодержавных правлениях почти повсеместно. Пример самовластия государя, не имеющего закона на последование, ниже в расположениях своих других правил, кроме своей воли или прихотей, побуждает каждого начальника мыслить, что, пользуясь уделом власти беспредельной, он такой же властитель частно, как тот в общем. И сие столь справедливо, что нередко правилом приемлется,

что противоречие власти начальника¹ есть оскорбление верховной власти. Мысль несчастная, тысячи любящих отечество граждан заключающая в темницу и предающая их смерти, теснящая дух и разум и на месте величия водворяющая робость, рабство и замешательство, под личиною устройства и покоя! Да сие иначе и быть не может по сродному человеку стремлению к самовластию, и Гельвециево о сем мнение ежечасно подтверждается.

Привлекши на себя ненависть путевода нашего, Федор Васильевич не возмущился сею мыслию, ибо что вещал ему, то была истина. Бокум рачил более о своей прибыли, нежели о вверенных ему. Федор Васильевич имел более опытности, нежели другие его сотоварищи: довольные причины для приведения корыстолюбца на злобу.

Первой случай к несогласию нашему с нашим путеводителем и первая причина его злобствования против Федора Васильевича было само в себе малозначащее происшествие, но великое имело действие на расположение наше к начальнику нашему. Мы все воспитаны были по русскому обряду и в привычке хотя не сладко есть, но до насыщения. Обыкли

¹ С вероятностию корень сего правила о непрекословном повиновении найти можем в воинских законоположениях и в смешении гражданских чиновников с военными. Большая часть у нас начальников в гражданском звании начали обращение свое в службе отечеству с военного состояния и, привыкнув давать подчиненным своим приказы, на которые возражения не терпит воинское повиновение, вступают в гражданскую службу с приобретенными в военной мыслями. Им кажется везде строй; кричат в суде на караул и определение нередко подписывают палкою.

мы обедать и ужинать. После великолепного обеда в день нашего выезда ужин наш был гораздо тощ и состоял в хлебе с маслом и старом мясе, ломтями резанном. Таковое кушанье, для немецких желудков весьма обыкновенное, встревожило русские, привыкшие более ко штям и пирогам. И если захочешь без предубеждения внять вине нашего неудовольствия, к несчастью нашему потом обратившегося, то найдешь корень оного в первом нашем ужине. Покажется иному смешно, иному низко, иному нелепо, что благовоспитанные юноши могли начальника своего возненавидеть за такую малость; но самого умереннейшего человека заставь поговеть неделю, то нетерпение в нем скоро будет заметно. Если сладость наскучить может, колыми паче голод. Худая по большей части пища и великая неопрятность в приуготовлении оной произвели в нас справедливое негодование. Федор Васильевич взялся изъяснить оное пред нашим начальником. Умеренное его представление принято почти с презрением, а особливо женою Бокума, которую можно было почитать истинным нашим гофмейстером. Сие произвело словопрение, и кончилось тем, что Федор Васильевич возненавижен стал обоими супругами.

Но не знал наш путеводитель, что худо всегда отвергать справедливое подчиненных требование и что высшая власть сокрушалась иногда от безвременной упругости и безрассудной строгости.

Мы стали отважнее в наших поступках, дерзновеннее в

требованиях и от повторяемых оскорблений стали, наконец, презирать его власть. Если бы желание учения не останавливало нас в поступках наших и не умеряло нашего негодования, то Бокум на дороге бы испытал, колико безрассудно даже детей доводить до крайности. Во всех сих зыблениях боязни и отваги младшие предводительствуемы были старшими. Из сих первый был Федор Васильевич. Но если его кто почтет или сварливым, или злобным, или пронырливым, или коварным, или вспыльчивым, тот, конечно, ошибется. Единое негодование на неправду бунтовало в его душе и зыбь свою сообщало нашим, немощным еще тогда самим собою воздыматься на опровержение неправды. Таковыми происшествиями уготовлялися мы к одной из знаменитейших, по моему мнению, эпох нашей жизни. Я говорю о содержании нашем в Лейпциге под стражею.

Ничто, сказывают, толико не сопрягает людей, как несчастье. Сия истина подкрепляется и нашим примером. Худые с нами поступки нашего гофмейстера толико нас сделали единомысленными, что, исключая некоторых из нас, могли бы мы поистине один за другого жертвовать всем на свете. Да сие иначе быть не может, ибо дружба в юном сердце есть, как и все оного чувствования, стремительна. Краткое пребывание наше в Митаве, воззрение неизвестных нам доселе нравов, обрядов, языка загладило в душе Федора Васильевича угрызение печали. Ежедневные оскорбления начинали было производить в нем раскаяние о предпринятом путешествии,

но новые предметы отвлекли душу его от горестных мыслей и соделали ее на некоторое время к оскорблениям бесчувственною. Но если новые предметы удобны были загладить в душе Федора Васильевича изрытие печали, то не имел он, однако же, довольно опытности, так сказать, в учении, дабы из путешествия своего извлечь всю возможную пользу. Примечания достойно: человек, достигнув возмужалых лет, когда начинает испытывать силы разума, устремляемый бодростию душевных сил, обращает проницательность свою всегда на вещи, вне зримой окружи лежащие, возносится на крыльях воображения за пределы естественности и нередко теряется в неосязаемом, презирая чувственность, столь мощно его вождающую. Все почти юноши, мыслить начинающие, любят метафизику; с другой же стороны, все, чувствовать начинающие, придерживаются правил, народным правлениям приличных. И так Федор Васильевич мысли свои обращал более к умственным предметам и не знал еще, какую полезность извлечь можно из путешествия.

Между людьми, получившими воспитание разного рода, понятия о священных вещах долженствовали быть и были разные. Если бы возможно было определить, какое каждый из нас имел тогда понятие о боге и о должном ему почитании, то бы описание сие показалось взятым из какого-либо путешествия, в коем описывается исповедание веры неизвестных народов. Иной почитал бога не иначе как палача, орудием кары вооруженного, и боялся думать о нем, столь

заstraшен был силою его прещения. Другому казался он вскруженным толпою младенцев, — азбучной учитель, которого дразнить ни во что вменяется, ибо уловкою какою-нибудь можно избежать его розги и скоро с ним опять поладить. Иной думал, что не токмо дразнить его можно, но делать все ему на смех и вопреки его велениям. Все мы, однако же, воспитаны были в греческом исповедании, и для сохранения нас в православии отправлен с нами был монах, которому в должность предписано было наставлять нас в христианском законе, отправлять для нас службу церковную и быть нашим духовником.

Отец Павел был в своем роде человек полуученый, знал по-латыне, по-гречески и несколько по-еврейски. В семинарии прошел все нижние и вышние философские и богословские классы и был учителем риторики. Но если ему известны были правила красноречия, древними авторами преподаваемого, если знал он, что есть метафора, антитезис и прочие риторические фигуры, то никто столь мало не был красноречив, как наш отец Павел. Добродушие было первое в нем качество, другими он не отличался и более способствовал к возродившемуся в нас в то время непочтению к священным вещам, нежели удобен был дать наставление в священном законе. Судить можно из следующего.

Исправление наше (ибо при первом нашем свидании он почел нас богоотступниками, хотя ручаться можно, что ни один из нас в то время ниже повести не читывал о афеи-

стах) — исправление наше начал он тем, что заставил нас при утренних и вечерних на молитве собраниях петь. Если вспомнишь, мой друг, сколь нестройной, несогласной и шумной у нас был всегда концерт, то и теперь еще улыбе-нешься. Иной тянул очень низко, иной высоко, иной тонко, иной звонко, иной чресчур кудряво, и, наконец, устроенное на приучение ко благоговению превратилось постепенно в шутку и посмеялище.

Отец Павел, если припомнишь, гораздо был смешлив, и если случалось ему во время богослужения видеть что-либо смешное, то, забыв важность своего действия, начинал смеяться, как то случилось ему в Лейпциге, увидев одного из нас, а именно князя Трубецкого, поющего на крылосе, искривив лицо для высокого напева. Для сей-то причины он отправлял богослужение, большею частию зажмурившись.

В Риге на молитве случилось весьма смешное происшествие. Отец Павел, опасаясь увидеть что-либо пред глазами, могущее подвигнуть его на смех, зажмурился, начиная пение. Сим Михаил Ушаков, человек шутливой и проказливой, захотел воспользоваться, дабы рассмешить нашего отца Павла.

Икона, пред коей совершался наш молитвенный напев, стояла в верху довольно просторного стола, на котором раскладены лежали наши шапки, шляпы, муфты, перчатки. Пред столом стоял отец Павел, зажмурившись. М. Ушаков, взяв легонько одну из перчаток, на столе лежавших, и, согнув

персты ее образом смешного кукиша, положил оную возвышенно прямо пред поющего нашего духовника. При делании поясных поклонов растворил зажмурившиеся глаза свои, и первое представилась ему сложенная перчатка. Не мог он воздержаться, захохотал громко, и мы все за ним.

Отец Павел, не привыкнув еще к нашим проказам, обрел в них более, нежели простые и юношеские шутки. Оборотясь, наименовал он нас богоотступниками, непотребными и другими в приложении юношества смешными названиями; сделавшего же вину смеха называл неграмматикально, может быть, мошенником, да и того хуже. При первых уже словах М. Ушаков, будучи весьма вспыльчив, восколебался, и столь же смешным деянием, как сей неприличными словами, представили нам позорище, какого ни на каком феатре за рубль купить не можно. М. Ушаков, схватив висящую на стене шпагу и привесив ее к бедре своей, бодро приступил к чернецу; показывая ему ефес с темляком, говорил ему, немного заикаясь от природы: «Забыл разве, батюшка, что я кирасирской офицер». В таком вкусе было продолжение сего действия, которое для нас кончилось смехом, для М. Ушакова мнимою победою, а для отца Павла отытием с негодованием в свою комнату.

Сие и подобные сему происшествия умалили в нас почтение к духовной над нами власти, так как шутки над нашим гофмейстером некоторого проезжавшего российского гвардии офицера, о чем я скажу после, возбудили к нему в нас

совершенное пренебрежение. Еще о красноречии отца Павла: следуя, не ведаю, данному предписанию или по собственному своему побуждению, он каждое воскресение по совершении литургии становился пред царскими дверьми за наложным и преподавал нам толкование о чтенном того дня Евангелии. Вследствие сего обряда в некакой праздник, во Благовещение, если хорошо помню, он объяснить нам старался, что в Священном писании разумеется под ангелом божиим. «Ангел есть слуга господень, которого он посылал для посылок; он то же, что у государя курьер, как то г. Гуляев». Тогда был в Лейпциге приехавший из Петербурга, с некоторыми приказаниями, курьер кабинета и был с нами присутствен на литургии. При изречении сего забыли мы должное к церкви благоговение, забыли ангела, видели действительного курьера, и все захохотали громко. Отец Павел засмеялся за нами вслед, зажмурил глаза, потом заплакал и сказал: «Аминь».

Приехав в Лейпциг, забыл Федор Васильевич все обиды и притеснения своего начальника и вдался учению с наивеличайшим рвением, но как не окоренел еще в трудолюбии сего рода, то на время от оногo отвлечен был случившимся с нами неприятным происшествием, которое для всех нас было деятельною наукою нравственности во многих отношениях.

Если иные в повествовании сем найдут что-либо пристрастное, не буду тронут тем, ведая, что они ошибаются; но ты, мой друг, будучи содействователь всего, обрящешь в нем истину.

Имея власть в руке своей и деньги, забыл гофмейстер наш умеренность и, подобно правителям народов, возмнил, что он не для нас с нами; что власть, ему данная над нами, и определенные деньги не на нашу были пользу, но на его. Власть свою хотел он употребить на приведение нас к молчанию о его поступках. Человек много может сносить неприятностей, удручений и оскорблений. Доказательством сему служат все единоначальства. Глад, жажда, скорбь, темницы, узы и самая смерть мало его трогают. Не доводи его токмо до крайности. Но сего-то притеснители частные и общие, по счастью человечества, не разумеют и, простирая повсеместную тяготу, предел оныя, на коем отчаяние бодрственную возносит главу, зрят всегда в отдаленности, хождая воскрай гибели, покрытой спасительною для человека мглою. Не ведают мучители, и даждь, господи, да в неведении своем пребудут ослепленны навсегда, не ведают, что составляющее несносную печаль сему, другому не причиняет ниже единого скорбного мгновения, да и в оборот то, что в одном сердце ни малейшего не произведет содрогания, во сте других родит отчаяние и исступление. Пребуди благое неведение всецело, пребуди нерушимо до скончания века, в тебе почил сохранность страждущего общества. Да не дерзнет никто совлещи покров сей с очей власти, да исчезнет помышляяй о сем и умрет в семени до рождения своего.

Первое, с чем Бокум по приезде в Лейпциг начал правление свое, было сокращение издержек относительно нас, ели-

ко то возможно было. Но не воображай, чтобы домостройство было тому причиною: что он отчислял от нашего содержания, то удвоял во своем, и принужден был лишать нас даже нужнейших вещей на содержание наше. О сем те, кои из нас были постарее, и в числе оных первой был Федор Васильевич, делали ему весьма краткие представления гораздо кротче, нежели когда-либо парижский парламент делывал французскому королю. Но как таковые представления были частные, как то бывают и парламентские, а не от всех, то Бокум отвергал их толико же самовластно, как и король французской, говоря своему народу: «В том состоит наше удовольствие».

Наскучив представлениями, Бокум захотел их пресечь вдруг, показав пространство своей власти. Придравшись к маловажному проступку князя Трубецкого, он посадил его под стражу, отлучив его от обхождения с нами, и приставил у дверей комнаты, в которую он был посажен, часового с полным оружием, выпросив нарочно для того трех человек солдат. Не довольствуясь таким наглым поступком, он грозил посаженному под стражу, и нам за ним, если не уйдемся, то, по данной ему власти, он будет нас наказывать фуктелем, как то называют, или ударами обнаженного тесака по спине. Сие произвело в нас противное действие тому, которое он ожидал. Ведали мы, что власти таковой ему дано не было, и всякому известно было, что мягкосердие начинало в России писать законы, оставя все изветы лютости прежних,

хотя поистине душесильных времен. Негодование в нас возросло до исступления; но мы не забыли еще умеренности, и хотя скопом и заговором, но для ребят довольно правильно и благопристойно, пришли все просить его об отпущении вины князя Трубецкого и об освобождении его из-под стражи. Вместо того, чтобы воспользоваться кротким расположением душ наших и привлечь к себе нашу признательность отпущением вины сотоварища нашего в уважение нашея просьбы, он ее нагло отвергнул и выслал нас с презрением. Сие уязвило сердца наши глубоко, и мы не столько помышлять начали о нашем учении, как о способах освободиться от толико несносного ига.

Подобно как в обществах, где удручение начинает превышать пределы терпения и возникает отчаяние, так и в нашем обществе начиналися сходбища, частые советования, предприятия и все, что при заговорах бывает, взаимные о вспомоществовании обещания, неумеренность в изречениях; тут отважность была похваляема; а робость молчала, но скоро единомыслие протекло всех души, и отчаяние ждало на воспаление случая.

Бокум оного не удалял. Причина нашего неудовольствия была недостаток иногда в нужных для нашего содержания вещах, то есть в пище, одежде и прочем. Вторая зима по приезде нашем в Лейпциг была жесточее обыкновенных, и с худыми предосторожностями холод чувствительнее для нас был, нежели в самой России при тридцати градусах стужи.

Домостроительство Бокума простиралось и на дрова, и мы более в сем случае терпели недостатка, нежели в чем другом. Хотя запрещено было, как то нам сказывали, присылать к нам деньги из домов наших, но мы, неизвестны будучи о сем запрещении и охотны, особливо на случай нужды, преступить сие повеление, имели при отъезде нашем из России по несколько собственных денег. Кто их имел, не только удовлетворял необходимым своим нуждам, но снабжал и товарищей своих. Словом, во все продолжение нашего пребывания, кто имел свои деньги, тот употреблял их не токмо на необходимые нужды, как-то на дрова, одежду, пищу, но даже и на учение, на покупку книг; не утаю и того, что деньги, нами из домов получаемые, послужили к нашему в любострастии невоздержанию; но не они к возрождению одного в нас были причиною или случаем. Нерадение о нас нашего начальника и малое за юношами в развратном обществе смотрение были одного корень, как то оно есть и везде, в чем всякий человек без предубеждения признается.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.